

А. П. ЧЕХОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ

СБОРНИК

Под редакцией
А. К. КОТОВА

О Г И З
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 9 4 7

О ЧЕХОВЕ

I

В уральских владениях Саввы Морозова готовились к приезду хозяина.

Управляющий имением «дядя Костя», расторопный толстяк, похожий на мистера Пикквика, хотя он был всего-навсего морозовским приказчиком, вторую неделю метался из одного края обширного имения в другой, не разбирая ни дня, ни ночи.

Хлопот было по горло. В имении спешно чинили мосты, настилали гати, отводили делянки запоздавшим лесорубам, отправляли в Усолье не доставленный во-время доломит.

В одном углу имения охотники стреляли дичь, в другом — рыбаки ловили в горной речке нежных хариусов, чтобы было чем кормить Морозова.

Домой, во Всеволодо-Вильвенский завод, «дядя Костя» приезжал только отсыпаться — усталый, опухший от комаров, весь зашлепанный таежной грязью, не исключая даже круглых очков в серебряной оправе, которые еле держались на кончике его крохотного, кнопочкой, носа.

Но и дома было не легче. Дом красили снаружи, скребли и мыли внутри, чистили парк, вывозили навоз из конюшен и спешно вешали собак, в непотребном количестве расплодившихся около кухни. На это дело был поставлен кучер Харитон, рыжебородый тяжелый мужик и впрямь похожий на палача. При всей его лютости ему, однако, удалось «казнить» только трех, остальные собаки, почуяв беду, благоразумно куда-то скрылись.

Новая школа, числившаяся по отчетам готовой, стояла еще без окон и дверей. Выписанный из Перми жирный повар, похожий на скопца, оказался запойным. Пьяный, он бил на кухне посуду и требовал от Анфисы Николаевны каких-то не существующих в природе «бунчаусов», без которых нельзя было, по его словам, изготовить ни одного благородного, «губернаторского» кушанья.

С утра, непричесанная, в розовом фланелевом халате, Анфиса Николаевна — супруга «дяди Кости» — в куриной истерике бегала по комнатам и поминутно затевала ссоры с прислугой, малярами, с полумойками, которые успели уже выдать два стекла и сломали ее любимый многолетний фикус.

Четверо мальчуганов — потомство «дяди Кости», — оставшись без надзора, объявили себя шайкой разбойников и неистовой ватагой носились по дому, с удовольствием приклеиваясь босыми пятками к еще непросохшему от краски полу. В парке они рубили деревянными саблями высаженные на клумбы цветы.

«Дядя Костя» махнул на них рукой. Все личное перестало для него существовать. Его единственной отрадой был теперь только что построенный впервые в доме, опять-таки ради Морозова, теплый ватерклозет с фарфоровой чашей и громыхающим, как Ниагара, водосливом.

Выходя из уборной, «дядя Костя» каждый раз радостно изумлялся:

— Вот это — Европа!

Волновались не только в «господском» доме. Волнение захватило и заводской поселок, находящийся неподалеку от усадьбы. В волостном правлении по вечерам густо гудели мужики, составлявшие прошение Морозову насчет каких-то спорных лугов. На поляне у колодца четыре пары понятых, кланяясь друг другу в пояс, пробовали пожарную машину. Пересохший рукав брызгал во все стороны фонтанами на визжавших от радости ребят.

Из церкви неслось хоровое пенье—это о. Геннадий, по прозвищу «Иисусик», разучивал со школьниками ответственную к приезду Морозова кантату. Даже начальник станции — усатый истукан из бывших жандармов,

казалось бы, ему-то какое дело до приезда Морозова, и тот, единственно раболепства ради, приказал начистить толченым кирпичом станционный колокол и саморучно увешал платформу приветственными гирляндами.

Наконец торжественный день настал.

Это было 23 июня 1902 года.

В десять утра «дядя Костя», в заново отлакированной коляске с Харитоном на козлах, разодетым в плисовую с позументами безрукавку, покати́л на вокзал встречать хозяина. Я остался ждать около дома на скамейке, палимый снаружи солнцем, а внутри — нетерпением поскорее увидеть Савву, — так все за глаза называли Морозова, — которого я хорошо знал по Москве.

Через полчаса из-за угла дома вихрем вырвалась возвращавшаяся тройка и разом замерла у парадного крыльца, окутанная догнавшим ее, наконец-то, облаком пыли.

Из коляски легко, по-молодому, выскочил Морозов, без фуражки, в парусиновой блузе и высоких охотничьих сапогах. Его лицо — монгольского бородатого божка — хитро щурилось.

— А я вам гостя привез! — шепнул он мне, здороваясь.

Следом за ним с подножки коляски осторожно ступил на землю высокий, сутулый человек, в кепке, узком черном пиджаке, с измятым галстуком бабочкой. Его лицо в седеющей клином бородке было серым от усталости и пыли. У левого бедра на ремне через плечо висела в кожаном футляре квадратная фляжка, какую носят охотники. Помятые брюки просторно болтались на длинных, сходящихся коленями ногах.

В нескольких шагах от нас он вдруг глухо и надолго закашлялся. Потом отвинтил от фляжки никелированную крышку и, отвернувшись конфузливо в сторону, сплюнул в отверстие фляжки красноватую вязкую мокроту. Молча подал мне влажную руку. Поправил пенсне... Прищурившись, оглядел с высокого откоса млеющие в горячем тумане заречные дали, провел взглядом по изгибам полусонной речки и сказал низким, хрипатым от кашля голосом:

— А, должно быть, здесь шуки водятся?! — Это был Чехов.

День прошел в праздничной сутолоке. После легкого завтрака ходили осматривать ближайшие достопримечательности: спиртовой завод, новую школу, березовый парк.

Чехов шел медленно, глядя под ноги и отставая от других. Тонкой, гнущейся тросточкой он пробовал растрескавшуюся от жары землю, как бы не доверяя ее обманчивой внешности. Горький однажды написал мне: «Чехов ходит по земле, как врач по больнице: больных в ней много, а лекарств нет. Да и врач-то не совсем уверен, что лечить надо».

Темный, низкий, закопченный завод, где в огромных чанах и холодильниках сутками прели какие-то составы и жидкости, где не было ни живого огня, ни шума машин, Чехову явно не понравился. Морщась от уксусного запаха, он безразлично прослушал объяснения инженера, постучал из вежливости тросточкой по огромной бутылке денатурата и, не дождавшись Морозова, вышел на воздух.

В новую школу, куда за отсутствием крыльца надо было подниматься по узкой стремянке, Чехов даже не заглянул и, пока Савва мерил рулеткой будущие классы и вычислял их кубатуру, Чехов сидел около школы на бревнах и, побрякивая жестяной коробочкой, которую он всегда носил в жилетном кармане, приманивал мятыми лепешками деревенских ребят, собиравших около постройки сосновые щепы — матерям на растопку.

Ребята шмыгали носами, подталкивали друг друга локтями, но ни один из них так и не решился подойти за конфетками к этому черному, чужому «дяде», в очках со шиурочком.

Под зелеными сводами парка Чехов ожил, снял кепку, как в церкви, и, вытирая пот платком, сказал со вздохом и нараспев:

— Хорошо у вас тут... Бе-ре-зы... Не то, что у нас в Ялте. — И, как бы слегка капризная, добавил: — Не понимаю, зачем это здоровые люди в Ялту ездят? Что там хорошего? Берез — нету, черемухи — нету, скворцов — и то нет!

— Здоровые люди, они — глупые, им везде нравится! — ответил Савва с таким ехидным простодушием, что никак нельзя было понять, над кем он подсмеивается — над «здоровыми людьми». или над больным Чеховым.

Обед состоял из семи блюд, и каждое из них почему-то запаздывало. «Дядя Костя» сидел красный от стыда и чуть не плакал.

За столом собралась вся местная интеллигенция: лесничий, фельдшер, инженеры и техники с заводов — нескладные, бородатые обломы, рабочая скотинка Морозова. Они нарядились как на свадьбу — суконные сюртуки пахли нафталином, накрахмаленные манишки с невероятными галстуками пузырями выпирали из жилетов. Все их внимание было приковано к хозяину. Они говорили, пили водку, смеялись тогда, когда говорил, пил и смеялся хозяин. На Чехова они не обращали внимания. Многие из них даже не знали, кто такой Чехов, и, прослышав, что он «писатель», принимали его за помощника Морозова «по письменной части».

Между рыбой и жарким школьники в соседней комнате — обед совершался на террасе — спели кантату, очень похожую на «Херувимскую», после чего сияющий о. Геннадий в новой шелковой рясе, подобной колоколу, присоединился к обедающим.

Чехов сидел чужаком, на краю стола, для всех посторонний, и с тоской поглядывал на вечереющий сад, где солнце уже резало пополам стволы берез и кипело последним золотом в их пышных вершинах.

Он ничего не ел, кроме супа, пил привезенную с собой минеральную воду «Апполинарис» и весь обед недружелюбно молчал, лишь изредка и с неохотой отвечая на реплики Морозова, всячески старавшегося вовлечь его в общий разговор.

Обед затянулся до сумерек. Когда все встали, Чехов, сославшись на усталость, ушел к себе в комнату, ни с кем не попрощавшись и, видимо, обиженный.

Мы с Саввой отправились во флигель, где я жил, чтобы там на свободе поговорить о делах. Я был в ту пору студентом Горного института и производил в имении Морозова разведки на каменный уголь.

Оказалось, что составленные мною чертежи были

так велики, что не уместались ни на одном из столов. Чтобы вывести меня из затруднения, Савва раскинул кальку от одного угла комнаты в другой, поставил на концах горящую лампу и несколько подсвечников и, растянувшись на полу, пригласил меня последовать его примеру. Так, ползая по занозистым половицам, мы приступили к осмотру чертежей и деловой беседе.

В середине моего доклада Савва привстал на колени и сказал, как всегда, с хитрецей:

— Знаете что? Я завтра утром уеду осматривать имение, а Чехова подброшу вам. Вы его тут займете. Вам будет интересно!..

Помолчал и, почесывая острием карандаша коротко остриженный седеющий затылок, уныло прибавил:

— Скучно ему со мной! И зачем я его сюда затаскил?!

III

И вот, неожиданно для себя, я оказался глаз на глаз с Чеховым, вдвоем в огромном, пустом доме. «Дядя Костя» уехал с Морозовым, а домашних своих он еще загодя отправил к родственникам, чтобы они, как он выразился, «не портили здесь пейзажа».

Чехову было со мной еще скучнее, чем с Морозовым.

Стояла африканская жара, без ветерка, без прохлады даже ночью. Чехов, изнывая от зноя, бесцельно слонялся по парку, читал в садовой беседке приложения к «Ниве» и каждый час справлялся у горничной, нет ли телеграммы из Москвы, где он оставил больную жену. Его томило безлюдье, безделье и кашель.

Вероятно, в этот именно день он написал Вл. И. Немировичу-Данченко:

«Пишу тебе сие чорт знает откуда, из северной части Пермской губернии. Если проведешь пальцем по Каме, вверх до Перми, то уткинешься в Усолье, так вот я именно возле этого Усожья... Жизнь здесь серая, неинтересная и, если изобразить ее в пьесе, то слишком тяжелая»¹.

Хорошо, что Чехов не написал такой пьесы, иначе мне пришлось бы играть в ней незавидную роль!

В самом деле, положение мое было в высокой степени нелепым. Навязанный насильно совершенно незнакомому человеку в качестве гостеприимного хозяина и единственного собеседника, я ни в какой мере не годился ни для того, ни для другого. К тому же этим «незнакомым человеком» был не кто иной, как Чехов.

Недолго думая, я попросту сбежал от него и, сославшись на спешную работу, просидел весь день у себя во флигеле, исподтишка наблюдая в окошко за своим страшным гостем.

Вечером Чехов пригласил меня пить чай на террасу. Отказаться было невозможно. После первых неуверенных, нащупывающих собеседника фраз о том, какой налить чай — крепкий или сладкий, с сахаром или с вареньем, речь зашла о Горьком. Тема была легкая. Я знал, что Чехов любит и ценит Горького, и со своей стороны не поскупился на похвалы автору «Буревестника». Вскоре я просто задыхался от междометий и восклицательных знаков.

— Извините... Я не понимаю... — оборвал меня Чехов с неприятной вежливостью человека, которому наступили на ногу. — Я не понимаю, почему вы, и вообще вся молодежь, без ума от Горького? Человек он талантливый... Вот вам всем нравятся его «Буревестник» и «Песнь о соколе». Но ведь это еще не литература, а только набор громких слов... Я знаю, вы мне скажете — политика! Но какая же это политика? «Вперед без страха и сомненья!» — это еще не политика. А куда вперед — неизвестно?! Если ты зовешь вперед, надо указать цель, дорогу, средства. Одним «безумством храбрых» в политике никогда и ничего еще не делалось.

От изумления я обжегся глотком чая.

— «Море смеялось», — продолжал Чехов, нервно покручивая шнурок от пенсне. — Вы, конечно, в восторге! Как замечательно! А ведь это — дешевка, лубок. Вот вы прочитали — «море смеялось» и остановились. Вы думаете, остановились потому, что это хорошо, художественно. Да нет же! Вы остановились просто потому, что сразу не поняли, как это так — море — и вдруг смеется?.. Море не смеется, не плачет, оно шумит, плещет-

ся, сверкает... Посмотрите у Толстого: солнце всходит, солнце заходит... птички поют... Никто не рыдает и не смеется. А ведь это и есть самое главное—простота...

Длинными пальцами он трогал близлежащие предметы: пепельницу, блюдечко, молочник и сейчас же с какой-то брезгливостью отпихивал их от себя.

— Вот вы сослались на «Фому Гордеева», — продолжал он, сжимая около глаз гусиные лапки морщин. — И опять неудачно! Он весь по прямой линии, на одном герою построен, как шайлык на вертеле. И все персонажи говорят одинаково, на «о»... Романы умели писать только дворяне. Нашему брату — мещанам, разнолюду — роман уже не под силу... Вот скворешники строить, на это мы горазды. Недавно я видел один такой: трехэтажный, в двенадцать окошечек, и резное крылечко, а над крылечком надпись: — трах-тир!.. Парфенон, а не скворешник!.. Чтобы строить роман, необходимо хорошо знать закон симметрии и равновесия масс. Роман — это целый дворец, и надо, чтобы читатель чувствовал себя в нем свободно, не удивлялся бы и не скучал, как в музее. Иногда надо дать читателю отдохнуть и от героя и от автора. Для этого годится пейзаж, что-нибудь смешное, новая завязка, новые лица... Сколько раз я говорил об этом Горькому, не слушает... Гордый он — а не Горький!..

— ...Да не-ет! — отмахиваясь от меня, как от табачного дыма, сердился Чехов. — Вы совсем не то цените в Горьком, что надо. А у него, действительно, есть прекрасные вещи. «На плотах» — например. Помните? Плывут в тумане... ночью... по Волге... Чудесный рассказ! Во всей нашей литературе я знаю только еще один такой, это «Тамань» Лермонтова...

С Горьким мне явно не повезло. Я попробовал отыгаться на Художественном театре. «Здесь-то мы, наверное, не разойдемся, — думал я. — Ведь Художественный театр — это сам Чехов».

— Ничего — театр как театр, — опять погасил мои восторги Чехов. — По крайней мере актеры роли знают. А Москвитин — даже талантливый. В других театрах и этого нет. Я помню в Александринском театре ставили мою «Чайку». Под суфлера! Боже мой, что только они там говорили!.. Вообще наши актеры еще очень некуль-

турны и не умеют держать себя на сцене. Пока молоды, все они почему-то скребут ногами и ржут как жеребцы. К старости голос у них от пьянства садится в мокроту, и так они шамкают, точно говорят не ртом, а совсем другим местом.

Наступившее молчание свидетельствовало о моем полном ничтожестве. Как утопающий за соломинку, я ухватился за «декадентов», которых считал «новым течением в литературе».

— Никаких декадентов нет и не было, — безжалостно доконал меня Чехов. — Откуда вы их взяли?.. Во Франции — Мопассан, а у нас — я, стали писать маленькие рассказы, вот и все новое направление в литературе. А насчет декадентов — так это их «Зритель»² в «Новом времени» так выругал, они и обрадовались. — Жулики они, а не декаденты! Гнилым товаром торгуют... Религия, мистика и всякая чертовщина! Русский мужик никогда не был религиозным, а чорта он давным-давно в баню под полок упрятал. Это все они нарочно придумали, чтобы публику морочить. Вы им не верьте. И ноги у них вовсе не «бледные»³, а такие же, как у всех — волосатые.

Разговор снова оборвался. Чехов невкусно, как лекарство, глотал остывший чай.

Все, что он говорил, было для меня новым, подавляюще неожиданным. Но в самой парадоксальности его суждений чувствовалась какая-то нарочитость. Казалось, он говорил не совсем то, что думал: может быть, из чувства противоречия к тем банальностям, какими я его засыпал, а может быть, просто потому, что был нездоров и не в духе. Во всяком случае, то, что он говорил, никак не вязалось с моим представлением о «великом писателе», которого я мыслил себе в ту пору обязательно либо в образе величавого апостола, как Л. Толстой, либо в ореоле пламенного витии, как Герцен и Чернышевский. Чехов же был слишком прост и обыденен. Я попробовал спорить, но неожиданные реплики Чехова сейчас же сбили меня с толку, я запутался и в отчаянии понес такую ерунду, что самому слушать было стыдно... Но остановиться я уже не мог.

Чехов искоса, с недоброй, застрявшей в устах улыбкой поглядывал на меня и, точно поддразнивая, — так драз-

нят щенка, чтобы он громче лаял,—поколачивал меня время от времени все новыми и новыми парадоксами.

— Ну, какой же Леонид Андреев — писатель? Это просто помощник присяжного поверенного, которые все ужасно как любят красиво говорить...

Или:

— Почему вы против Суворина? Он умный старик и любит молодежь... У него все берут в долг и никто не отдает.

Или:

— Студенты бунтуют, чтобы прослыть героями и легче ухаживать за барышнями...

Я обиделся за студентов и свирепо замолчал.

Чехов это заметил и переменял разговор. Ласково поглядывая в мою сторону и посмеиваясь на этот раз только одними глазами, он стал рассказывать о том, как хорошо на Каме, по которой он только что проехал, и какие там вкусные стерляди. Рассказал несколько смешных анекдотов о рассеянности Морозова и о том, как надо подманивать карасей, чтобы они лучше клевали.

Вставая, чтобы идти спать, он слегка обнял меня за плечо и спросил шопотом, как поп на исповеди:

— А сами вы не пишете?.. Нет! Вот это хорошо. А то нынче студенты, вместо того, чтобы учиться, либо романы пишут, либо революцией занимаются... А впрочем,—возразил он сам себе,—может быть, это и лучше. Мы, студентами, пиво пили, а учились тоже плохо. Вот и вышли такими... недотёпами...

Он весело рассмеялся, смакуя меткое слово, ставшее впоследствии таким знаменитым.

Когда через несколько месяцев в Москве его спросили обо мне, он сказал с улыбкой:

— Как же, помню!.. Такой горячий, белокурый студент.—И после паузы прибавил:—Студенты часто бывают белокурами...

IV

Вскоре, однако, и у нас нашлись общие интересы. С утра до вечера мы сидели теперь под глинистым откосом, у темного омута, и с увлечением ловили окуней, иногда попадались и щуки. Чехов был прав: щук в реке было много.

— Чудесное занятие! — говорил Чехов, поплеывая на червяка. — Вроде тихого помешательства. И самому приятно, и для других неопасно. А главное, думать не надо... Хорошо!

Он с удовольствием грелся на солнце, снимал пиджак и галстук и почти не кашлял.

Рыбак он был превосходный, его улов всегда был больше, чем у меня, хотя мы сидели рядом.

— До чего мы ленивый народ, — добродушно философствовал он, сладко потягиваясь. — Даже природу заразили ленью. Вы поглядите только на эту речку, до чего же ей лень двигаться! Вон она какие колена загибает, а все от лени. И вся наша пресловутая «психология», вся эта Достоевщина, тоже ведь от этого. Лень работать, ну вот и выдумываем.

Солнце размаривало и клонило в дремоту. Тишина была такая мягкая и добротная, что никакой пушкой ее не прошибешь. Вода тепло блестела, от этого блеска приятно кружилась голова, в глазах двоились поплавки.

Чехов сладко дремал, свесив голову на длинной шее, как убитая утка. В этих случаях его удочки сторожила рыжая, похожая на таксу, сучка, бог весть откуда взявшаяся; вероятно, одна из тех, что не успел повесить кучер Харитон. Подобострастно облизываясь, она внимательно следила за поплавками, а когда начинало клевать, — вскакивала, махала хвостом и визгливо лаяла... За это Чехов кормил ее пойманной рыбой, которую она, к нашему удивлению, пожирала живьем.

Однажды, глядя, как она, давясь и жадничая, заглатывала окуня, который бил ее хвостом по морде, Чехов сказал с безгловостью:

— Совсем как наша критика!

V

Морозов и Чехов, при всем их обоюдном старании казаться близкими друзьями, были в сущности людьми друг другу чужими. Интеллигент, писатель — Чехов плохо сочетался с капиталистом Саввой Морозовым. Это различие особенно ясно сказывалось, когда они были вместе на людях. При этом всегда выходило как-то так,

что центром внимания окружающих оказывался неизменно не Чехов, а Савва. Морозовские ситцы имели в ту пору более широкое распространение, нежели рассказы Чехова. Обаяние морозовских миллионов действовало на обывателя сильнее писательской популярности Чехова.

Савва понимал всю незаслуженность такого предпочтения, это его смущало, и, чтобы выйти из неприятного положения, он всячески старался в таких случаях выдвинуть Чехова вместо себя на первое место.

Чехов воспринимал это как ненужное заступничество. Его самолюбие страдало, хотя он тщательно это скрывал. Но иногда его скрытая неприязнь к Морозову все-таки прорывалась наружу.

Как-то раз, вернувшись из приемного покоя, куда он ходил смотреть, как лечат больных, Чехов, намыливая над умывальником руки, угрюмо проворчал, намекая на Морозова:

— Богатый купец... театры строит... с революцией заигрывает... а в аптеке нет иоду и фельдшер — пьяница, весь спирт из банок выпил и ревматизм лечит касторкой... Все они на одну статью — эти наши российские Рокфеллеры ⁴.

VI

По предложению Морозова было решено окрестить «именем Чехова» вновь отстроенную школу. Чехову это, видимо, не понравилось, но он промолчал. Мне поручили составить соответствующий адрес, а «дяде Косте» — его прочитать. Тот долго отнекивался, но, наконец, сказал, что «ради памяти потомства» он согласен.

Когда Чехов узнал, что в школе будут служить молебны, он наотрез отказался присутствовать на торжестве. Тогда решили поднести ему адрес на дому.

Я сидел у Чехова в комнате и читал ему вслух Апухтина. Чехов лежал на кушетке — ему сильно нездоровилось.

— Хорошие стихи, — сказал он, пожевывая, — какая нежная любовная лирика! Вот и поди, разгадай поэтов!

В комнату несмело вошла делегация: учитель, священник, фельдшер и начальник станции. «Дядя Костя»

выступил вперед и, задыхаясь от волнения, прочел мой высокопарный адрес. Настало торжественное молчание. Начальник станции даже вытянул руки по швам, как на параде.

Чехов медленно поднялся, взял папку с адресом из дрожащих рук «дяди Кости» и, оглядев его, сказал так, будто ничего не произошло:

— Константин Иванович, а у вас опять брюки не застегнуты!

«Дядя Костя» закрыл ладонями живот и присел от испуга. Все засмеялись и громче всех, басом, начальник станции, усатый жандарм.

Мне стало жаль бедного «дядю Костю».

Когда я вечером рассказал об этом Савве, тот долго трясся от залиvistого, с горошинкой, смеха и, вытирая белоснежным платком слезы, сказал:

— Чему же вы удивляетесь? Вы еще его не знаете — он не только «дядю Костю», он кого угодно может стащить с колокольни... Не любит он пышности и вообще колокольного звона. Вы читали его «Степь»? Помните там: «по небу чиркнули серной спичкой». Это он так про грозу, чтоб не очень гремела... Вот подождите, Илья пророк припомнит ему эти спички! Отомстит ему старик... Он ведь, как все мужики — злопамятный.

VII

Как это ни странно, но предсказанье Морозова оправдалось и очень скоро.

Вечером мы опять вдвоем с Чеховым сидели за чаем на террасе.

Ночь шла зловещая, душная... Темнота так плотно напирала с трех сторон на террасу, точно хотела выдавить стекла и захлестнуть испуганно гудевшую десятилинейную лампу. Под ее зеленым абажуром метались бабочки и, обжегшись, умирали в судорогах на клеенке стола, уставленного чайной посудой, которая уродливо отражалась в новеньком, серебряном самоваре.

Березы в саду были полны беспокойства, они то стояли совсем тихо, то вдруг без причины начинали дрожать всей листвой сверху и до самого низу. Над горизонтом,

подминая под себя тусклые звезды, медленно подымалась огромная туча, черная даже в темноте.

Чехов был в этот вечер как-то особенно грустен и доверчив: от прежней его раздражительности, — при нашей первой встрече, — не осталось и следа.

Зажав между костлявыми коленями свои длинные руки, он сидел согнувшись на стуле, против раскрытой двери террасы, и, вглядываясь в темноту сада, точно споря с кем-то невидимым, кто там находился, медленно говорил:

— Прежде всего, друзья мои, не надо лжи... Искусство тем особенно и хорошо, что в нем нельзя лгать... Можно лгать в любви, в политике, в медицине, можно обмануть людей и самого господ бога — были и такие случаи, — но в искусстве обмануть нельзя...

Он на минуту замолчал, как бы ожидая возражений своего невидимого собеседника, и, не дождавшись, продолжал:

— Вот меня часто упрекают, даже Толстой упрекал, что я пишу о мелочах, что нет у меня положительных героев: революционеров, Александров Македонских или, хотя бы как у Лескова, просто честных исправников... А где их взять? Я бы и рад!

Он грустно усмехнулся:

— Жизнь у нас провинциальная, города немощные, деревни бедные, народ поношенный... все мы в молодости восторженно чирикаем, как воробьи на дерьме, а к сорока годам — уже старики и начинаем думать о смерти... Какие мы герои!

Он посмотрел на меня через плечо, опять согнулся и уставился немигающими глазами в темноту.

— Вот вы говорите, что плакали на моих пьесах... Да и не вы один... А ведь я не для этого их написал, это их Алексеев⁵ сделал такими плаксивыми. Я хотел другое... Я хотел только честно сказать людям: — «Посмотрите на себя, посмотрите, как вы все плохо и скучно живете!..» Самое главное, чтобы люди это поняли, а когда они это поймут, они непременно создадут себе другую, лучшую жизнь... Я ее не увижу, но я знаю, она будет совсем иная, не похожая на ту, что есть... А пока ее нет, я опять и опять буду говорить людям: «Поймите же, как вы плохо и скучно живете!» Над чем же тут

плакать? «А те, которые уже это поняли?» — повторил он мой вопрос и, вставая со стула, грустно закончил: — Ну, — эти и без меня дорогу найдут... Пойдемте спать... Гроза будет...

Чтобы не оставлять Чехова одного в пустом доме, я спал теперь в соседней с ним комнате. В доме было душно, пахло масляной краской, пищали комары. Окон нельзя было открыть — боялись воров.

Я беспокоился о Чехове. Сквозь тонкую перегородку мне был явственно слышен его кашель, раздававшийся эхом в пустом темном доме. Так длительно и напряженно он никогда еще не кашлял.

Несколько раз он вставал с кровати, — мне было слышно, как гудели пружины матраца, — ходил по комнате, что-то пил из стакана, снова ложился, кашлял и снова вставал.

Под конец я все-таки уснул.

Меня разбудило ощущение близкой опасности. Я открыл глаза.

Комната была полна белым ослепительным сиянием, которое мгновенно исчезло, чтобы через секунду вновь появиться.

Я подошел к окну. Вокруг дома свирепствовала буря. Озверевшие, серые, огромные тучи лезли друг на друга, изрыгая огонь и грохот. Березы в саду, согнувшись, выли от боли, поражаемые косым дождем, который от молний казался стеклянным. От вихря и грома дом так сильно дрожал, что за вздувшимися обоями осыпалась штукатурка.

И вдруг сквозь грохот разрушавшегося неба я уловил протяжный, мычащий стон...

Ухо, приложенное к стене, за которой был Чехов, подтвердило мою догадку... Стон повторился — мучительный, почти нечеловеческий, оборвавшийся не то рвотой, не то рыданьем.

Мне показалось, что Чехов умирает и что, если он умрет, то это по моей вине. Себя не помня, как был, в одной рубашке и босиком, я бросился через столовую к комнате Чехова. У дверей я еще раз прислушался, стуча зубами.

Как это часто бывает в минуты ее наивысшего напряжения, гроза вдруг на мгновение остановилась. В до-

ме стало тихо и страшно... И в этой тишине явственно были слышны сдавленные стоны, кашель и какое-то бульканье...

Я распахнул дверь и шопотом окликнул Чехова.

— Антон Павлович!..

На тумбочке у кровати догорала оплывшая свеча... Чехов лежал на боку, среди сбитых простынь, судорожно скорчившись и вытянув за край кровати длинную с кадыком шею. Все его тело содрогалось от кашля... И от каждого толчка из его широко открытого рта в синюю эмалированную плевательницу, как жидкость из опрокинутой вертикально бутылки, выхаркивалась кровь.

За шумом начавшейся опять грозы Чехов меня не заметил. Я еще раз назвал его по имени.

Чехов отвалился навзничь, на подушки и, обтирая платком окровавленные усы и бороду, медленно, в темноте, нащупывал меня взглядом.

И тут я — в желтом, стеариновом свете огарка — впервые увидел его глаза без пенсне. Они были большие и беспомощные, как у ребенка, с желтоватыми от желчи белками, подернутые влагой слез...

Он тихо, с трудом проговорил:

— Я мешаю... вам спать... простите... голубчик...

Ослепительный взмах за окном и, сейчас же за ним, страшный удар по железной крыше заглушил его слова.

Я видел только, как под слипшимися от крови усами беззвучно шевелились его губы.

На следующий день Савва, бросив осматривать имение, увез больного Чехова в Пермь.

6*

После заздравных речей, взаимных поздравлений, пожеланий, тостов, криков «ура», рукоплесканий, чтения телеграмм и эпиграмм; после чокания бокалами, поцелуев в губы, в щеки, в ручку, дружеских объятий и тумачков, после того, как были съедены салаты, икра, рыба, гуси, индейки, фрукты, мороженое и выпито все по-

* Из 6-й главы ненапечатанного рассказа «Савва Морозов».

лагавшееся и неполагавшееся бесплатно вино и шампанское — хозяевам и гостям надоело, наконец, сидеть на одном месте, они стали переходить от стола к столу, присаживаться к знакомым и незнакомым дамам, собираться кучками и курить, и тогда всякий порядок был нарушен, все смешалось в кучу и образовался кавардак, в котором уже нельзя было ничего разобрать.

Новогодний банкет в Художественном театре был окончен. Столы с грязными тарелками и пустыми бутылками были отодвинуты к окнам, и на освободившемся от столов паркете начались танцы.

Бал, как полагается, открылся вальсом. Под звуки невидимого оркестра понеслись по фойе, одна за другой, обнявшиеся пары, обдавая стоящих вокруг зрителей теплым ветром развевающихся шлейфов, запахом духов и вина. Вскоре весь зал обратился в пеструю карусель лент, кружев, причесок, фраков и эполет, на которую трудно было смотреть без головокружения.

И только в самом дальнем углу фойе, у окна, продолжали еще сидеть за столиком двое: один в узкой черной куртке, застегнутой сбоку на крючки, похожий то на скуластого сердитого солдата, то на голубоглазого инока, в зависимости от того, куда он смотрел: в зал — на публику или на своего соседа.

Его сосед — в слабогрудом пиджачке, борода клинышком, а под ней — кадык, прятал глаза за отсветами пенсне, и только по морщинкам на провалившихся висках можно было догадаться, что он много в своей жизни улыбался.

Они ласково поглядывали друг на друга и молчали, как двое влюбленных, оставшиеся впервые наедине.

От танцующих их отделяла баррикада из составленных рядами стульев.

— А вы, Алексей Максимович, танцуете? — спросил Чехов, чтобы только что-нибудь спросить.

— Не умудрил господь! Да и грация у меня, знаете ли... лошадиная.

Чехов слабо улыбнулся.

— Лошадь красивее человека... Смешной случай был с Левитаном. В молодости он был очень бедным и очень влюбчивым. Влюбился он в какую-то дамочку, которая жила через двор, напротив, но познакомиться —

никак не удавалось. От прислуги он узнал, что дамочка чуть не каждый вечер уезжает куда-то на танцы. Исаак занял у кого-то сюртук и отправился — знакомиться. Входит в танцевальный зал и видит: сидит его пассия за роялем и барабанит по клавишам. Оказалось — таперша. Так и не познакомился!..

Горький засмеялся, потом закашлялся, потом заплакал и стал скомканным в кулаке платком вытирать мокрые усы и, украдкой, слезы.

Чехов, в свой черед, тоже кашлянул — суховато, отрывисто, и опять чуть-чуть улыбнулся:

— Про нас с вами могут сказать: хорошо писатели провели вечерок, интересно друг с другом покашляли!

К ним подошел Станиславский — статный, фрачный, седой, с черными усами. Он заботливо задернул за спиной Чехова портьеру.

— А вам здесь... не дует? — спросил он, смущенно покрываясь. — Может быть лучше... пройти за кулисы... Там собрались товарищи, хотят вас и Алексея Максимовича приветствовать... особо...

Защищая гостей от прихлынувшей к ним толпы, он сторонкой, за барьером стульев, увел их из зала.

Бал становился все оживленнее.

Воспоминания писателя А. Сереброва (псевдоним Александра Николаевича Тихонова) (р. в 1880 г.) воспроизводятся по тексту, опубликованному в «Альманахе Год XVIII», кн. VII, М. 1935 г. с добавлением новой главы из неопубликованного рассказа «Савва Морозов».

Воспоминания относятся к 1902 г., когда Тихонов, будучи студентом петербургского Горного института, был на практике на Урале на Всеволодо-Вильвенском заводе и проживал в Усолье, имении С. Т. Морозова.

¹ Письмо А. П. Чехова к Вл. И. Немировичу-Данченко из Усолья от 25 июня 1902 года напечатано в «Письмах Чехова», т. VI, стр. 233—234.

² *Зритель*, псевдоним Василия Васильевича Розанова, сотрудника газ. «Новое время».

³ Намек на одну из строф в стихотворении В. Я. Брюсова.

⁴ *Рокфеллер Джон Девисон* (1839—1937), нефтяной король и крупнейший представитель финансовой олигархии Америки.

⁵ К. С. Станиславский.